

## Исканія молодого Герцена

Немногіе имѣютъ счастье или несчастье  
рождать изъ себя собственные, а не чужія  
мысли.

Ап. Григорьевъ.

Гегель чутко описывалъ процессъ философскаго пробужденія. Въ мукахъ и сомнѣніи выходитъ сознаніе изъ безразличнаго покоя непосредственной жизни, изъ «субстанціального образа существованія», подымается надъ житейской суетой, — и міръ оказывается для него мыслительной загадкой. Есть свои времена и сроки для философскихъ рожденій. И не вообще наступаетъ время философствовать, но у опредѣленнаго народа возникаетъ опредѣленная философія. Такому пробужденію всегда предшествуетъ болѣе или менѣе сложная историческая судьба, долгій и бурный историческій опытъ и искусство. Теперь онъ становится предметомъ раздумья и обсуждения. — Такое философское рожденіе, распаденіе «внутренняго стремленія» со «внѣшней дѣйствительностью», переживало русское общественное сознаніе на рубежѣ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ прошлаго вѣка, почти ровно столѣтъ тому назадъ.

Эти десятилѣтія справедливо были названы «замѣчательными». Выступавшее тогда поколѣніе, «люди тридцатыхъ годовъ», рѣзко и замѣтно отличалось не только отъ своихъ отцовъ, но даже и отъ своихъ старшихъ братьевъ, — отличалось всѣмъ складомъ и строемъ умственнаго и нравственнаго существа, самымъ тоносомъ, стилемъ и темпомъ своей внутренней жизни. Люди этого поколѣнія точно охвачены какимъ-то священнымъ безуміемъ, тревогой и возбужденіемъ, — по слову поэта, они «и жить торопятся, и чувствовать снѣшать». Въ ихъ душевномъ обиходѣ преобладаютъ героическіе аффекты, то восторженные, то тоскливые, то ликующіе, то безот-

радные, но всегда — неистовые и неукротимые. Они чувствуют себя въ жизни неуютно, словно не на мѣстѣ. Они больны внутреннимъ раздвошеніемъ, разладомъ, «рефлексіей». Лермонтовъ далъ незабываемое изображеніе этихъ душевныхъ состояній. Это какой-то ядовитый сплавъ отчаянія, дерзости и безочарованія... «Паника усиливается въ мысли», говорилъ Аш. Григорьевъ, «и болѣзнь напряженности нравственной распространяется, какъ зараза». Щемящее чувство нравственнаго разлада разрѣшалось по разному. Иногда — въ безкрылое стремленіе къ утраченной цѣльности и полнотѣ, — тягою къ природѣ, культомъ дружбы и любви, культомъ патріархальнаго или даже дикаго быта. Иногда — въ грустныя воспоминанія и грезы о героическихъ и правдивыхъ эпохахъ невозвратимаго прошлаго. Иногда — въ воспаленныя предчувствія и ожиданія новой жизни и новаго быта, небывалаго и вдохновеннаго... — Волны этого романтическаго прилива не скоро спадаютъ, и повторныя вспышки подобныхъ настроеній прорѣзываютъ всю исторію истекшаго столѣтія.

Недостаточно дать психологическій анализъ этихъ настроеній. Нужно еще и объяснить ихъ и опредѣлить ихъ историческій смыслъ и мѣсто. При этомъ нельзя ограничиваться ни ссылакою на тягостныя впечатлѣнія глухого и нѣмого времени, ни сведеніемъ русской романтической бури на иноземную заразу и подражаніе. Ибо, прежде всего, во всемъ этомъ рускомъ бореши и исканіи слишкомъ много чувствуется искренней, подлинной боли и страсти, чтобы можно было видѣть здѣсь только подражательную позу. Вѣрно, что это была эпоха впечатлительная, чутко отзывавшаяся на чужестранную современность; но эти отзывы почти всегда были творческими. «Книги переходили и переходятъ у насъ непосредственно въ жизнь, въ плоть и кровь», вѣрно замѣчалъ Григорьевъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ не одна только житейская безысходность, не только «потрясающая тина мелочей, опутавшихъ нашу жизнь», питала это возбужденіе, «соблазняла и мучила совѣсть». Сама «гражданская скорбь» подымалась до умозрительной высоты. По вѣрному указанію одного изъ самыхъ внимательныхъ историковъ этой эпохи, «люди тридцатыхъ годовъ» мечтали не о частныхъ улучшеніяхъ нравственнаго или политическаго порядка, но о полномъ преобразеніи всей жизни, о возстановленіи и осуществленіи полнаго и всеобъемлющаго идеала, — «и душу про-

зелита при видѣ обѣтованной страны охватывать восторгъ почти религіознаго одушевленія». Это былъ глубокой и интимный сдвигъ. И были для него, наконецъ, достаточныя историческія основанія. Въ тогданнемъ поколѣніи, по выраженію Герцена, «ошеломленная Россія приходила въ себя». Какъ говорилъ Достоевскій, это была эпоха, «когда чуть не впервые начинается наше томительное сознаніе и томительное недоумѣніе вслѣдствіе этого сознанія при взглядѣ кругомъ», — «когда цивилизація въ первый разъ ощутилась нами какъ жизнь, а не какъ прихотливый придатокъ, а въ то же время и всѣ недоумѣнія, всѣ страшныя, неразрѣшимыя по тогдашнему, вопросы, въ первый разъ, со всѣхъ сторонъ стали осаждать русское общество и проситься въ его сознаніе»... Это была эпоха напряженнаго культурно-патріотическаго раздумья, пора предметнаго культурно-философскаго томленія, а не расплывчатой и прекраснотушной тоски.

«Намъ необходима философія, все развитіе нашего ума требуетъ ея», восклицалъ въ 1830 году Иванъ Кирѣевскій. «Ею одною живетъ и дышетъ наша поэзія; она одна можетъ дать душу нашимъ младенствующимъ наукамъ, и самая жизнь наша. быть можетъ, займетъ отъ нея изящество строгости... -- Но откуда придетъ она? Философія нѣмецкая вкорениться у насъ не можетъ. Наша философія должна развиться изъ нашей жизни, создаться изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ настроеній нашего народнаго и частнаго бытія». Кирѣевскій былъ правъ и въ характеристикѣ момента, и въ прогнозѣ. Дѣйствительно, изъ жизни, изъ господствующихъ интересовъ и текущихъ вопросовъ родной жизни рождается въ эти годы русская философія. Изъ исторіософическаго изумленія, изъ пристальнаго раздумья надъ родною судьбою, изъ взволнованной рефлексіи на родное творчество, на родной историческій опытъ рождается русская философская жизнь, -- а не изъ сухой и смутной школьной традиціи, эклектической и безцвѣтной. Очень показательно, что философская рефлексія проявляется у насъ сперва подъ видомъ литературной критики и исторіософскихъ размышленій, -- въ пылу культурно-патріотическихъ чаяній и споровъ. Въ сознаніе со всей силою врѣзывается загадка Россіи. И это стало возможно и вмѣстѣ съ тѣмъ неизбежно послѣ Отечественной войны «священной памяти Двѣнадцатаго года» съ ея «всенароднымъ опытомъ» и послѣ

очной ставки съ «Европой» въ бранныхъ тревоженіяхъ Наполеоновскихъ походовъ, послѣ «Исторіи Государства Россійскаго», послѣ переводческаго подвига Жуковскаго, завладѣвшаго литературою Древности и Запада и усвоившаго ее Россіи, послѣ Пушкина, въ мощномъ творчествѣ котораго русская поэзія становилась сразу и національной, и міровой... Уже нельзя было не задуматься надъ «русскою судьбою», надъ «русскимъ призваніемъ» и русской задачей. Уже накоплены и собраны въ вѣковомъ историческомъ искусствѣ культурныя цѣнности и богатства, и пробуждается и зрѣетъ неудержимая потребность овладѣть ими и взглянуть на нихъ съ умозрительной высоты. Этимъ не сковывается, напротивъ, чрезъ это освобождается мысль. Въ голомъ и отвлеченномъ видѣ философскія проблемы никогда не открываются человѣческому сознанию. Оно восходитъ и подымается къ нимъ исподволь и постепенно, отъ частичныхъ и конкретныхъ вопросовъ и загадокъ, которыя останавливаютъ, озадачиваютъ и «затрудняютъ» мысль въ обыденномъ и будничномъ существованіи. Философская жизнь требуетъ внутренней чуткости къ проблематикѣ, вкуса къ философскимъ вопросамъ, одной любознательности, одной тольکو воспримчивости къ чужимъ и стороннимъ философскимъ откритіямъ еще мало. Безвопросное подражаніе всегда бесплодно. Только наличность своихъ вопросовъ, выстраданныхъ и вынесенныхъ изъ конкретной жизни, дѣлаетъ возможнымъ творчество. Только тогда становится возможнымъ уже не ученическое заимствованіе и повтореніе чужихъ задовъ, но сочувственное усвоеніе и оплодотворяющее пріобщеніе къ преемственнымъ преданіямъ вселенскаго философскаго творчества, опознаннаго, какъ опытъ и задача.

Русское философское пробужденіе началось съ рецепціи нѣмецкаго идеализма. Любители и поклонники различныхъ философскихъ системъ бывали въ русскомъ обществѣ и раньше. Въ XVIII-мъ вѣкѣ въ разныхъ школахъ, духовныхъ и зарождавшихся свѣтскихъ, происходило и преподаваніе философскихъ элементовъ, почти исключительно по вольфіанскимъ руководствамъ, смѣшившимъ прежнія схоластическія. Въ философскомъ становленіи русскаго духа это школьное преподаваніе, не выражавшее никакой собственной умозрительной жизни, почти ничѣмъ и не сказалось. Гораздо важнѣе были тѣ болѣе ши-

рокие и свободные психологическіе процессы, которые проявились въ увлеченіяхъ энциклопедистами и мистической литературой Запада. Здѣсь уже сказывалась тревога мысли. Были многими прочитаны и Руссо, и Гельвецій, и Гольбахъ, и даже «творенія велемудраго Платона», переведенныя на «словено-россійскій» языкъ въ 80-хъ годахъ XVIII вѣка, обращались къ какому-то читателю. Во всякомъ случаѣ, и русское вольтерьянство, и русское масонство не были только внѣшней, дѣланной и заимствованною позой, но — дѣйствительными душевно-бытовыми событіями. И въ дальнѣйшемъ сказывались довольныя сильно религіозно-моральныя исканія масоновъ съ ихъ практикой душевнаго бдѣнія, съ ихъ психологической аскезой и самовоспитаніемъ, съ ихъ вниманіемъ къ тайнамъ природы. Но все это не выходило за предѣлы любознательности, подражанія и повторенія; при всей нерѣдкой мыслительной чуткости и пытливости людей старшихъ поколѣній, у нихъ не было еще подлинной умозрительной жажды. Не было еще своихъ вопросовъ, выросшихъ изъ опыта и жизни. Для подлиннаго философскаго пробужденія требовался нѣкій поворотъ въ сознаніи, подъемъ на высшую ступень. И только на исходѣ двадцатыхъ годовъ прошлаго вѣка онъ совершился, и начался «великій ледоходъ» русской мысли, какъ удачно выразился Гершензонъ.

Въ ускореніи этого «ледохода» идеалистическая проповѣдь сыграла рѣшающую роль. Было бы неправильно, впрочемъ, преувеличивать значеніе «рецепціи нѣмецкаго идеализма», какъ таковой, въ судьбахъ русской мысли. Западные идеи сыграли въ русскомъ сознаніи скорѣе роль «гипотезы оформленія», чѣмъ даже бродильнаго грибка. Живая потребность забеспокоившагося духа дѣлала его воспріимчивымъ, но воспринимаемыя идеи наполнялись новымъ, живымъ и испытаннымъ содержаніемъ. «Подсказанные» со стороны вопросы наново ставились, и мысль подвергала испытанію и разбору историческія системы философіи. Русская философія дѣлаетъ своей проблемой всю прежнюю философію, старается прослѣдить ея корни и истоки и понять ея внутренній смыслъ и перспективы. Философскія системы отзываются въ чуткихъ душахъ цѣлымъ хоромъ отголосковъ. Философская рефлексія въ эти годы для многихъ въ Россіи становится неодолимою страстью, насущною потребностью. Объ этомъ съ потре-

сающей очевидностью свидѣтельствуютъ «человѣческіе документы» того времени, въ которыхъ пылкая экзальтація и ѣдкое сомнѣніе сплавляются въ какую-то странную и отравляющую амальгаму. «Сидишь», — вспоминаль одинъ изъ людей этой эпохи, «и голова пылаетъ, и сердце бьется — не отъ вторгающихся въ раскрытое окно съ ванильно-наркотическимъ воздухомъ призывовъ весны и жизни, а отъ тѣхъ громадныхъ міровъ, связанныхъ цѣлостію, которые строить органическая мысль; или тяжело-мучительно роешься въ возникшихъ сомнѣніяхъ, способныхъ разбить все зданіе старыхъ душевныхъ и нравственныхъ вѣрованій... и физически болѣешь, худѣешь, желтѣешь отъ этого процесса. О! эти муки и боли души, — какъ онѣ были отравительно сладки. О! эти безсонныя ночи, въ которыя съ рыданіями падалось на колѣни съ жаждою молиться, и мгновенно же анализомъ подрывалась способность къ молитвѣ, — ночи умственныхъ бѣснованій вплоть до разсвѣта и звона заутрени, — о, какъ онѣ высоко подымали душевный строй»... И нужно взглянуть въ образы тогдашняго времени, вчитаться и вжиться въ переписку этихъ «идеалистовъ тридцатыхъ годовъ», — и станетъ ясно, что и вправду начался неудержимый духовный ледоходъ, и «паника» безповоротно захватила и взбудоражила всѣхъ. «Было время, вспоминалъ позже Ив. Кирѣевскій, «когда слово философія имѣло въ себѣ что-то магическое. Слухи о любомудріи нѣмецкомъ, распространяя повсюду извѣстіе о какой-то новооткрытой Америкѣ въ глубинѣ человѣческаго разума, возбуждали если не общее сочувствіе, то по крайней мѣрѣ общее любопытство. Особенно молодое поколѣніе съ жадностью искало всякой возможности проникнуть въ этотъ таинственный міръ»... Не слѣдуетъ преувеличивать сознательность, основательность и отвѣтственность тогдашняго философскаго чтенія. Этому мѣшала неустоявшаяся торопливость, какой-то зудъ нетерпѣнія. Многие узнавали тогда идеалистическія начала изъ чужихъ устъ, изъ живой рѣчи, — до иныхъ доходили они по духовному завѣщанію. Но тѣмъ яснѣе, что дѣло было не въ пассивномъ подражаніи, а въ отзывчивомъ зараженіи, въ живомъ и творческомъ отзывѣ души.

Людей этого поколѣнія часто сурово и строго судили, и осуждали, какъ «лишнихъ людей». Въ исторической памяти рѣзко запечатлѣлись образы этихъ тургеневскихъ

«отцовъ» люди съ мягкимъ, отзывчивымъ, воспримчивымъ сердцемъ, люди тонкой, почти ажурной мысли, способные на всеохватывающіе порывы, на бездонно-глубокія прозрѣнія; и вмѣстѣ съ тѣмъ люди съ врожденнымъ параличемъ воли, немощные въ созиданіи и свершеніи. Наклонные къ мечтательности, исполненные «нѣжной чувствительности», они способны были словно только для бессонныхъ бдѣній и возбужденныхъ споровъ, для восторженныхъ гимновъ и славословій. — Въ такой характеристикѣ есть правда, но мало зоркости и много пристрастія. То правда, что русскія исканія тѣхъ годовъ не закрѣпились во внѣшнихъ величественныхъ памятникахъ, не отделились ни въ какія законченныя системы; и даже болѣе — только незначительная часть тогдашняго духовнаго броженія вообще окристаллизовалась въ литературныя формы. Но не впустую разрѣшилось это героическое напряженіе философскаго паѳоса и воли, какъ ни много силъ потерялось безъ видимаго «полезнаго дѣйствія». И не только потому мы должны такъ судить, что въ слѣдующія десятилѣтія наступаетъ пора систематическихъ опытовъ и сведенія итоговъ, которая жила и питалась психическимъ наслѣдіемъ «замѣчательныхъ десятилѣтій». Но еще и потому, что въ самихъ этихъ бореніяхъ и спорахъ были до конца опознаны и логически отчеканены внутреннія возможности и неизбывные изъяны идеалистическаго умозрѣнія. Въ этой критической работѣ — одинъ изъ главныхъ итоговъ этой начальной поры. Но былъ и другой. Исходя изъ «русской загадки», въ стремленіи вскрыть и выразить «русскую идею», русская мысль искала для нея объясненія и оправданія въ общемъ истолкованіи историческаго процесса. Здѣсь открывалась множественность разнообразныхъ и пересѣкающихся путей. Невольно и неизбежно, съ жизненною полнотою поднималась мысль къ предѣльнымъ и основнымъ проблемамъ философіи исторіи и философіи вообще. Постепенно разрешивалась и обострялась проблематика и «апоретика», расширялись перспективы, отчеканивались типы рѣшеній. Исходя изъ своихъ, конкретныхъ и часто злободневныхъ вопросовъ, русскіе мыслители втягивались и вовлекались во вселенское общеніе идей. Начинается собраніе философскаго опыта. Просыпаются умозрительныя предчувствія. Пріоткрываются дали и нови. И было бы непросительной тупостью слуха не слышать въ сбивчивыхъ и от-

рывочныхъ спорахъ той давней поры глубокаго волненія пробудившагося духа, ищущаго и находящаго самъ себя. Это была героическая прелюдія къ еще недоигранной драмѣ. Русская мысль до сихъ поръ въ становленіи, до сихъ поръ не нашла себя, не овладѣла собою вполне. Тогда былъ сдѣланъ къ тому первый опытъ.

Не въ школьномъ порядкѣ принялись на русской почвѣ философскія идеи. Конечно, и школьная проповѣдь идеализма сыграла свою роль. Но Велланскій, Галичъ, Давыдовъ, Надеждинъ и даже Павловъ, эти кафедральные философы, были только сѣятелями, не творцами. Сѣмя проросло въ слѣдующемъ поколѣніи. Философскія идеи принялись въ тѣхъ многочисленныхъ кружкахъ, въ которые въ это время, и преимущественно въ Москвѣ, какою то центростремительною тягой собирается ищущая молодежь. Это не были собранія единомышленниковъ, и пи-гдѣ такъ много и такъ страстно не спорили, какъ здѣсь. Разногласія и несходство во взглядахъ очень медленно обострялись до непримиримой исключительности, — расхождение и обособленіе разномыслящихъ происходитъ много позже. Соединяло между собою нѣчто болѣе тонкое и глубокое, то невѣсимое «избирательное сродство», о которомъ такъ любили говорить въ то время. Оно собирало «своихъ» другъ другу. Собирало вокругъ своеобразнаго алтаря, гдѣ священнодѣйствовали, правда, въ клубахъ табачнаго дыма, въ растегнутыхъ сюртукахъ, часть въ рукахъ съ бокалами. Но это былъ своеобразный «философскій культъ»... «Мы другъ друга иеика», говорили другъ другу. Отсюда та особенная интимность и возбужденность любви и дружбы, которая поражаетъ въ людяхъ той поры. И съ этимъ связано особое и повышенное самочувствіе и самооцѣнка, своеобразное самоиѣніе, увѣренность въ своемъ призваніи и избраніи, въ знаменательности всей своей судьбы. Какъ удачно выразился Анненковъ, «вся интеллигентная молодежь конца тридцатыхъ годовъ составляла какое-то подобіе не сформировавшейся, но тѣмъ не менѣе дѣйствительно существовавшей общины, которая вѣровала въ свое призваніе обновить міръ словомъ и дѣломъ». И члены разныхъ кружковъ въ то-же время чувствовали себя членами нѣкаго высшаго братства, спаяннаго невидимымъ магнетизмомъ, «родствомъ душъ», «мы всѣ храмовые рыцари», говорилъ юный Герценъ. Это были «граждане спекулятивной



области», по мѣткому слову Бѣлинскаго, и всѣ они жили на одномъ и томъ же «необитаемомъ островѣ», сколь много ни прекословили они другъ другу, какъ ни различались порою вкусы и взгляды.

«Тогда на развалинахъ стараго міра сѣла тревожная юность. Всѣ эти дѣти были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битвъ. Въ головѣ у нихъ былъ цѣлый міръ; они глядѣли на землю, на небо, на улицы и на дорогу, -- все было пусто и только приходскіе колокола гудѣли вдаль». Эти слова Мюссе удачно вспоминаетъ Григорьевъ, когда говоритъ о «горячкѣ» тридцатыхъ годовъ.

Изъ числа кружковъ того времени на трехъ прежде всего должно остановиться вниманіе историка. Въ ихъ ряду первымъ по времени возникновенія было «Общество любомудрія», основанное въ 1823 году. Въ него входили кн. В. Ф. Одоевскій, Веневитиновъ, Ив. Кирѣевскій, Рожалинъ и Кошелевъ. Нѣсколько позже сложились два другихъ: кружокъ Станкевича и его друзей и кружокъ Герцена и Огарева. — Объ этомъ послѣднемъ въ особенности спутались и исказились преданія. О немъ будетъ рѣчь на дальнѣйшихъ страницахъ.

## I.

«Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество, оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости, а болѣе всего мечтательности... Такъ писалъ Герценъ въ своей юношеской статьѣ о Гофманнѣ, и въ этихъ словахъ слышится автобіографическое признаніе. Неуютно было Герцену въ родительскомъ домѣ, и рано приучился онъ укрываться въ міръ грёзъ, въ томъ «отрадномъ мірѣ» героической поэзіи, который воскресалъ для него въ книгахъ. Сквозь дымку мечтательнаго идеализма привыкалъ онъ смотрѣть во кругъ, очами Шиллера, Карамзина и Жанъ-Жака. Шиллеръ и Плулархъ были его первыми учителями. Въ романтическихъ «Разбойникахъ» и въ пластически-прекрасныхъ, гармоническихъ великихъ людяхъ Греціи и Рима открывался для юнаго Герцена идеальный типъ истиннаго человека. «Величественныя тѣни Фемистокла, Перикла, Александра», Карлъ Мооръ, маркизь Поза, «мрачная и задумчивая тѣнь Валленштейна», Дѣва Орлеанская, — всѣ эти

героическіе образы рѣзко выступаютъ на тускломъ, «темно-сѣромъ» фонѣ окружающей жизни. «Въ 1827 году и былъ пятнадцати лѣтъ», всиоминаетъ Герценъ; «идеи древняго республиканизма бродили въ головѣ, я вѣрилъ непреложно, что «взойдетъ заря плѣнительнаго счастья» .. Я читалъ Плутарха, и свѣжее отроческое сердце билось» .. По той-же мѣркѣ и въ русской исторіи Герценъ отыскиваетъ героизмъ, и преклоняется передъ Марфой Посадницей, «не настоящей, а той спартанской Марфой, о которой повѣсть написалъ Карамзинъ»... Руссо внушаетъ ему мысль о бѣгствѣ отъ людей, и онъ устраиваетъ свой Эрменонвилль въ липовой рошѣ села Васильевского. И тамъ читаетъ и *Contrat Social*, и Новую Элоизу, и пишетъ «философскую статью» о Шиллеровомъ «Валленштейнѣ».

Герои и толпа, притѣснители и угнетаемые, — въ эти привычныя, вычитанныя схемы легко укладываются отроческія впечатлѣнія Герцена. Въ душѣ нарастаетъ и зрѣетъ порывъ «инстинктуального» самоутвержденія, и ненависть къ «тиранамъ» переплетается съ ненавистью къ «толпѣ». Герценъ зачитывается «запрещенными стихами» Рыльева и Пушкина, какъ зачитывались ими въ тѣ годы всѣ. Онъ «отчаливаетъ отъ угрюмаго консервативнаго берега», и благоговѣетъ передъ героями великой революціи французской. Въ этихъ отроческихъ фантазіяхъ, въ этомъ «бушотовскомъ терроризмѣ» было мало политическаго содержанія. Мученическій вѣнокъ плѣнялъ юношу воображеніе. Въ ореолѣ святости являлись Герцену декабристы. — они дерзали, они смѣли хотѣть, они возставали противъ самовластнаго гнета... По «Шиллеровой фармакопее» представлялъ онъ себѣ декабрьское событіе. «Отъ Мероса, шедшаго съ кинжаломъ въ рукавѣ, чтобы городъ освободить отъ тирана, отъ Вильгельма Телля, поджидавшаго на узкой дорожкѣ въ Кюснахтѣ фогта, переходъ къ 14 декабря и Николаю былъ легокъ»... «Понятія мои не отличались особенною проницательностью», разсказывалъ Герценъ впоследствии; «они были до того сбивчивы, что я воображалъ въ самомъ дѣлѣ, что петербургское возмущеніе имѣло, между прочимъ, цѣлю посадить на тронъ Цесаревича, оградивъ его власть. Отсюда цѣлый годъ поклоненія этому чудаку... Мой идеалъ былъ Карлъ Мооръ; но я вскорѣ измѣнить ему и перешелъ къ маркизу Позѣ. На сто ладовъ передумывалъ я, какъ буду говорить съ Николаемъ, какъ онъ потомъ от-

править меня въ ссылку»... И тогда, и много позже, по признанію самого Герцена, его мечты о «русской свободѣ» всегда оканчивались въ Сибири или на плахѣ, рудниками и казематами, «и почти никогда торжествомъ».

Шиллеръ и Гете раскрыли передъ самимъ Герценомъ неизъяснимую прелесть дружбы, и посвятили его въ таинство «избирательнаго сродства», этой высокой симпатіи, спаивающей души. Случай сталкиваетъ Герцена и Огарева, и мечтательная теорія претворяется въ жизнь. «Онъ первый сталъ писать мнѣ ты и называть меня своимъ Агатономъ по Карамзину», вспоминаетъ Герценъ, «а я звалъ его моимъ Рафаиломъ по Шиллеру»... Это не было «пустое товарищество», это была «страстная дружба со всей горячностью молодой любви, съ мучительной тоской разлуки, съ ревнивымъ чувствомъ исключительности и робкою стыдливостью». «Въ его душѣ нѣтъ уголка, гдѣ бы не было симпатіи съ моею душою», говорилъ Герценъ; «мы сдѣланы изъ одной массы, но въ разныхъ формахъ, съ разною кристаллизацией». «Ребячье Грютли на Воробьевыхъ Горахъ», клятва жертвенной вѣрности другъ другу и общему дѣлу, благу человѣчества, которою, «вдругъ обнявшись», предъ лицомъ всей Москвы связали себя юные друзья, — этотъ романтическій обѣтъ совѣмъ не похожъ на позднѣйшую «Аннибалову клятву» Тургенева бороться съ реальными недугами окружающаго быта. Это былъ обѣтъ непримиримой вражды къ грубой и низкой «повседневности», къ тусклому и утомительному міру житейской прозы. Это было восторженное вѣнчаніе свыше обрученныхъ душъ, — «вѣнчаніе дружбы и симпатіи». «Мы уважали въ себѣ наше будущее», рассказываетъ Герценъ, «мы смотрѣли другъ на друга, какъ на сосуды избранные, предназначенные»... «На другой сторонѣ вдали разстилался городъ огромный, и главы его храмовъ сверкали въ огненномъ отблескѣ вечерняго солнца. На высокомъ берегу стояли два юноши. Оба, на зарѣ жизни, смотрѣли на умирающій день и вѣрили его будущему восходу. Оба, пророки будущаго, смотрѣли, какъ гаснетъ свѣтъ проходящаго дня, и вѣрили, что земля не на долго останется во мракѣ. И сознаніе грядущаго электрической искрою пробѣжало по душамъ ихъ, и сердца ихъ забились съ одинаковою силой. И они бросились въ объятія другъ другу и сказали: вмѣстѣ идемъ! вмѣстѣ идемъ! И это мгновеніе ангелы записали на небѣ и оно радостно от-

кликнулось въ великой душѣ міра»... Такъ вспоминаль въ послѣдствіи объ этомъ днѣ Огаревъ. Съ годами не слабѣла, не остывала горячность этой юношеской страсти. Воробьевы Горы стали для друзей «мѣстомъ богомолья», мѣстомъ благоговѣйнаго паломничества и одинокой молитвы. «Тутъ алтарь нашей дружбы», писалъ Герцень, --- «тутъ довѣряли мы другъ другу мысли, томившія души наши»... «Черезполосицею» дѣлились ихъ души между любовью и дружбой. Они пишутъ другъ другу влюбленные письма, плачутъ о прошедшемъ, съ умиленіемъ мечтаютъ о свиданіи, и сердца бьются при имени друга. И даже въ «Быломъ и Думахъ», почти черезъ тридцать лѣтъ, Герцень «со слезами» вспоминаетъ объ этой зарѣ «молитвой дружбы». «Все измѣнилось вокругъ: Темза течетъ вмѣсто Москвы-рѣки, и чужое племя около... И нѣтъ намъ больше дороги на родину... Одна мечта двухъ мальчиковъ, одного тринадцати лѣтъ, другого одиннадцати, уцѣлѣла». — Такъ глубоко проросли въ душахъ побѣги романтическаго чувства.

## II.

Въ экстазѣ страстной влюбленности вступили юные друзья въ стѣны Московскаго Университета. Это было въ самый канунъ 1830 года. Въ воздухѣ было что-то мрачное и тревожное, еще не забылась недавняя катастрофа. «Вдругъ блеснула молнія, раздался громовой ударъ, разлилась гроза июльской революціи», вспоминаль много лѣтъ спустя В. С. Печеринъ: «Воздухъ освѣжѣлъ, всѣ проснулись, даже и казенные студенты. Да и какъ еще проснулись! Слово Духъ Святой низошелъ на нихъ. Начали говорить новымъ, дотолѣ неслыханнымъ языкомъ о свободѣ, о правахъ человѣка»... «Кто хочетъ знать, какъ сильно дѣйствовала на молодое поколѣніе вѣсть Юльскаго переворота», говорилъ Герцень, «пусть тотъ прочтетъ описаніе Гейне, слышавшаго на Гельголандѣ, «что великій языческій Панъ умеръ»... Тутъ нѣтъ поддѣльнаго жара. Гейне тридцати лѣтъ былъ такъ же увлеченъ, такъ же одушевленъ, какъ мы восемнадцати»... — Это была не только общественная радость, это было апокалиптическое предчувствіе.

«Мы вошли въ аудиторію», рассказываетъ Герцень, съ твердою цѣлью въ пей основать зерно общества по обра-

зу и подобію декабристовъ, а потому искали прозелитовъ и послѣдователей... День, въ который мы сѣли рядомъ на одной изъ лавокъ амфитеатра и взглянули другъ на друга, съ сознаниемъ нашего обреченія, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей вѣры въ святость дѣла — и взглянули съ гордой любовью на это множество молодыхъ, прекрасныхъ головъ, окружавшихъ насъ, какъ на братственную паству, — былъ великимъ днемъ въ нашей жизни. Мы подали другъ другу руки и à la leftre пошли проповѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой «вселенной», какъ четыре діакона, идущіе въ свѣтлый праздникъ съ четырьмя Евангеліями въ рукахъ. Мы были увѣрены, что изъ этой аудиторіи выйдетъ та фаланга, которая пойдетъ за Пестелемъ и Рылѣвымъ, и что мы будемъ въ ней... Но было бы напрасно представлять себѣ сложившійся тогда «кружокъ Герцена и Огарева», какъ какое-то политическое сообщество. «Общества въ сущности никогда не составлялось», говоритъ самъ Герценъ. Это была «юношеская конспирація», конспирація мечты и дружбы. «Мы были фанатики и юноши», вспоминаетъ Герценъ. «Какъ большая часть живыхъ мальчиковъ, воспитанныхъ въ одиночествѣ», рассказываетъ онъ, «я съ такою искренностію и стремительностію бросался каждому на шею, съ такой безумной неосторожностію дѣлалъ пропаганду, и такъ откровенно самъ всѣхъ любилъ, что не могъ не вызвать горячій отвѣтъ со стороны аудиторіи, состоявшей изъ юношей почти одного возраста (мнѣ былъ тогда семнадцатый годъ)». Настроенія юныхъ друзей причудливо смѣнялись, одно оставалось неизмѣннымъ, — паѳосъ вольности, экзальтація свободы, «ненависть ко всякому насилію, ко всякому правительственному произволу». Именнo какъ ненависть противъ «гнета внѣшней жизни», противъ «немилосерднаго» фатума опредѣлялъ Огаревъ въ послѣдствіи тогдашній «соціальный интересъ». Три стиха изъ Эленшлегерова *Correggio*. взяты Герценомъ въ качествѣ эпиграфа къ юношеской статьѣ о Гофманнѣ, хорошо передаютъ тоглашнее его настроеніе.

Die Künstler und die Räuber, das  
Ist eine Art der Leuten. Beide meiden  
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens...

Романтическое недовольство, вражда къ «повседневности», жажда новой жизни - вотъ что питало «нестройное одушевленіе» юныхъ друзей, «смѣнявшееся то томной нѣжностью, то дѣтскимъ смѣхомъ», какъ говорилъ впоследствии Герценъ. И подѣ видомъ привычной романтической антитезы ихъ остановило «совершенное противорѣчіе слова ученія съ быліями жизни вокругъ»... Пошлость обыденной жизни, скованной, стертой и обезличенной, безъ чистыхъ чувствъ и безъ высокихъ стремленій; вялое, покорное, рабское прозябаніе въ чередѣ неразличимо - однообразныхъ дней», — и міръ новыхъ героевъ, вольныхъ и страстныхъ, смѣлыхъ до дерзости и безумства, сожигаемыхъ пламенными порывами, самодержавныхъ и потому прекрасныхъ... «Люди, люди, гдѣ вы побываете, все испорчено: и сердца ваши, и воздухъ васъ окружающій, и вода текущая, и земля, по которой вы ходите... Но небо, небо! Оно чисто, оно заново, какъ въ первый день творенія, дыханіе пресмыкающихся не достигаетъ его»... Такъ писалъ Герценъ въ своей «статѣ о Воробьевыхъ горахъ» лѣтомъ 1833 года. И невольно влечетъ его «туда», въ «отрадный міръ», гдѣ нѣтъ тоски и нѣтъ мученія. Въ любви открывается для него этотъ новый міръ, «міръ дивный и чудесный, міръ поэзіи и гармоніи»... И невольно вспоминается образъ Печерина. *Cette existence brutalement materielle...*, *ces êtres avilis, ces hommes sans cœurs, sans croyances, sans Dieu, — ces hommes sur les fronts desquels on chercherait en vain l'empreinte de leur Créateur*, — такъ описывалъ онъ томительную пошлость окружающей жизни въ письмѣ графу С. Г. Строганову, объясняя свое бѣгство на Западъ. «Гласъ Красы незримой» манилъ и звалъ его т у д а, — «Райская была то птица, и о раѣ пѣснь вела»... «Вѣчнымъ солнцемъ тамъ сіяетъ Правды незакатный свѣтъ; тамъ любовь не умираетъ, и разлуки вовсе нѣтъ», такъ въ старости передавалъ Печеринъ свои былія чувства.

«Первая идея, которая запала въ нашу голову, когда мы были ребятами», вспоминаетъ Огаревъ, «это — социализмъ». «Сень-симонизмъ легъ въ основу нашихъ вѣрженій», говоритъ Герценъ въ «Быломъ и Думахъ». Ранній французскій, такъ называемый «утопическій» социализмъ былъ сложнымъ сгусткомъ нерасчлененныхъ чувствъ и мыслей, — разное изъ него можно было вос-

принять и по разному усвоить. Самъ Сень-Симонъ не разъ и съ нетерпѣніемъ мѣнялъ свои взгляды, но въ самой смѣлѣ психичѣскими сохранялъ безнокойство и взволнованность сердца и ума. Со своей патетической и эмоциональной стороны и былъ прежде всего вліятеленъ и заразителенъ этотъ ранній социализмъ. Въ немъ сказалась жгучая и страстная потребность эпохи въ цѣльномъ и цѣлостномъ міровоззрѣніи, въ немъ сказалась жажда вѣры. Сень-Симонъ и всѣ его послѣдователи стремились прежде всего къ духовному и внутреннему возстановленію распадавашагося общества, отравленнаго просвѣтительскими и революціонными ядами. Они ждали и жаждали откровенія и начала новой органической эпохи. Не одно только риторическое злоупотребленіе было въ этихъ обозначеніяхъ — *Nouveau Christianisme* у Сень-Симона, *le vrai Christianisme* — у Кабе. Рѣчь шла именно о новой религіи, о преображеніи и пересозданіи всего міра и всей жизни на новыхъ и «положительныхъ» началахъ, силою новаго вдохновенія и новой вѣры. Въ духовномъ обновленіи и собираніи эти «утописты» видѣли единственный путь къ общественному возрожденію, — и въ этомъ сознаніи и былъ внутренний стержень всей ранней социалистической проповѣди. Это была бурная и сознательная идейная реакція противъ критическаго вѣка Просвѣщенія. Въ этомъ отношеніи совершенно справедливо еще Л. фонъ-Штейнъ въ своей знаменитой книгѣ сопоставлялъ французскій социализмъ и нѣмецкую идеалистическую философію. Это два проявленія одного и того-же духа. Послѣ-революціонная Франція несоизмѣрима съ Франціей XVIII-го вѣка. Демократическая и социальная Франція, передовая Франція уходитъ въ это время не только отъ «Энциклопедіи» и Кондильяка, но и отъ «идеологовъ» и отъ «эклектизма». Уже — Лагарповскій Луссе, это, кстати сказать, любимое русское чтеніе двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, былъ прямо враждебенъ «энциклопедіи», — а впоследствии, въ серединѣ 30-хъ годовъ, изъ социалистическихъ круговъ выходитъ планъ «Новой Энциклопедіи» въ противовѣсъ и въ замѣну старой. Въ революціонныхъ и республиканскихъ кружкахъ времени Реставраціи наряду съ Руссо, Бентамомъ, Ридомъ и Ад. Смитомъ читаютъ Канта, Гердера, Савиньи, Нибура и даже Крейцера. И, по вѣрному замѣчанію историка «республиканской партіи во Франціи», для новаго поко-

лѣнія «Христось оставался предтечей новѣйшихъ временъ, и Евангеліе — молитвенникомъ», — «всѣ они вѣрили въ Бога и постоянно говорили о Немъ въ своихъ книгахъ». Недаромъ «Новое Христіанство», это духовное завѣщаніе Сень-Симона, начинается торжественнымъ исповѣданіемъ со стороны «новатора» и вѣры въ Бога, и вѣры въ божественное происхожденіе христіанской вѣры и Церкви, и «глубокаго уваженія и величайшаго восторга передъ Отцами этой Церкви». Пусть въ оцѣночномъ порядкѣ рукотворная «религія сень-симонистовъ» (*la religion saint-simonienne*) есть религія мнимая, лживая и пустая, — «круженіе помысловъ», беспорядочныхъ, обманныхъ и безплодныхъ. По психологической природѣ своей тѣмъ не менѣе социалистическая эпидемія тридцатыхъ годовъ была движеніемъ эмоционально-религіознымъ. Сень-Симонизмъ былъ и хотѣлъ быть скорѣе религіозною сектой, чѣмъ политической партией. И живъ онъ былъ своимъ религіознымъ пыломъ, жаждою новаго откровенія и новой вѣры, пламенной и вдохновенной.

Именно съ этой религіозно-патетической стороны и былъ воспринятъ сень-симонизмъ въ Герценовскомъ кружкѣ, — какъ «желаніе набросить міру новую религіозную форму», по позднѣйшему выраженію Огарева. Анненковъ справедливо указывалъ, что сень-симонизмъ тѣмъ именно и привлекалъ Герцена и его друзей, что «это была въ одно время и готовая религія съ установленной уже іерархіей, и социальная пропаганда, отвѣчающая на мечтанія о внезапномъ облагодѣтельствованіи рода человѣческаго». «Сень-Симонистское» и «нѣчто мистическое» сливалось въ воспріятіи людей тѣхъ временъ.

Огаревъ такъ вспоминалъ впоследствии (въ «Исповѣди лишняго человѣка», уже въ 50-хъ годахъ):

Я помню комнатку аршиновъ въ пять,  
Кровать да стулъ, да столъ съ свѣчею сальной.  
И тутъ встроемъ, мы — дѣти декабристовъ  
И міра новаго ученики,  
Ученики Фурье и Сень-Симона, —  
Мы поклялись, что посвятимъ всю жизнь  
Народу и его освобожденью,  
Основую положимъ социализмъ;



И чтобъ достигъ священной нашей цѣли,  
 Мы общество должны составить втайнѣ.  
 И втайнѣ шагъ за шагомъ распространять.  
 Товарищъ нашъ, глубоко религіозный,  
 Торжественно предъ нами развернулъ  
 Большую книгу въ буромъ переплетѣ,  
 Со сдержками. И мы клялись надъ нимъ,  
 И бросились другъ другу мы на шею  
 И плакали въ восторгъ молодомъ... ((II, 417-18).

«Втроемъ», это были Герценъ, Огаревъ и Вадимъ Пасекъ. Это были снова романтическіе обѣты, обѣты священной и жертвенной дружбы... Паѳосъ вѣры и апокалиптическія чувства прежде всего были усвоены изъ сенъ-симонизма, — чаяніе переворота и новой жизни. «Нѣтъ жизни истинной безъ вѣры», такъ опредѣлялъ Герценъ правду сенъ-симонизма передъ своей ссылкой «Для насъ сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ», вспоминалъ онъ впослѣдствіи, — «новый міръ толкался въ дверь, наши сердца растворялись ему»... «Мы чувствуемъ, что міръ ждетъ обновленія», писалъ Герценъ Огареву въ 1833 году, «что революція 89 года ломала и только; но надобно новыя основанія положить обществамъ Европы»... И въ сенъ-симонизмѣ онъ видѣлъ «опытъ» такого общественнаго обновленія. Два догмата новаго благовѣстія называлъ Герценъ впослѣдствіи: освобожденіе женщины и искупленіе плоти. «Великія слова, заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми, міръ здоровья, міръ духа, міръ красоты, міръ естественно-нравственный и потому нравственно-чистый»... Очень показательно, что именно такъ оцѣниваетъ Герценъ сенъ-симонистскую проповѣдь: многія подробности могли изгладиться изъ памяти, свѣтъ и тѣни распредѣлились по новому и по иному, но смыслъ и тоносъ своихъ былыхъ увлеченій онъ не могъ позабыть. Врядъ ли много «политическихъ книгъ» было прочтено тогда юными друзьями. Врядъ ли читали они самого Сенъ-Симона или «Изложеніе» его доктрины. Въ «Быломъ и Думахъ» Герценъ называетъ прежде всего «сенъ-симонистскія брошюры, ихъ проповѣди, ихъ процессы», — «они поразили насъ»... Сами сенъ-симонисты больше всего плѣняли во-

ображеніе, эти новые, свободные, освободившіеся люди, — «Анфантенъ являлся какимъ-то Іоанномъ Лейденскимъ, Базаръ — Саванароллой»... «Послѣдніе юноши Франціи были Сень - Симонъ и фаланга», говоритъ Герценъ, и этотъ юношескій пылъ сообщалъ очарованіе неяснымъ и смутнымъ «французскимъ идеямъ». «Торжественно и поэтически являлись среди мѣщанскаго міра эти восторженные юноши со своими неразрѣзными жилетами, съ отращенными бородами. Они возвѣстили н о в у ю в ѣ р у, имъ было что сказать и во имя чего дозвать передъ свой судъ старый порядокъ вещей»... И снова вспоминается Печеринъ. И онъ видѣлъ тогда въ сень-симонизмѣ «н о в у ю в ѣ р у, которой суждено обновить дряхлую Европу»; и онъ слышалъ въ немъ «гигантскіе шаги близкаго будущаго»... «Эти великодушные республиканцы, которыхъ теперь влекутъ передъ судилища новыхъ Иродовъ и Пилатовъ, это — тѣ-же святые мученики и апостолы первобытной Церкви», говоритъ Печеринъ въ своей «автобіографіи»; и ему хочется «присоединиться къ ихъ доблестному сонму»... — У Герцена и у Печерина почти тѣ-же слова, ибо чувствовали и переживали они тогда одно и то-же, одну и ту-же романтико-соціалистическую экзальтацію.

«И я не въ бездѣйствіи, я много размышляю, много думаю», пишетъ Герценъ Огареву, въ 1833 году, — «предметъ мой христіанская религія»... Онъ «пристально занимается христіанствомъ» и «со стыдомъ» признается, что «доселѣ не зналъ Христа». «Какая высота, особенно въ посланіяхъ Павла!»... Герценъ читаетъ историковъ — Лерминье, Мишле, Тьерри, кажется, и Вико; и набрасываетъ бѣглый «очеркъ». «Развитіе гражданственности въ древности было одностороннее. Греки и римляне не знали частной жизни, и общая жизнь была не гармонія, но искусственный синтезъ... Въ формахъ нѣтъ р а з в и в а е м о с т и, не было мысли впередъ, — можетъ оттого, что каждое государство жило тогда отдѣльно, должно было разъ блеснуть, разъ служить ступеню р о д у ч е л о в ѣ ч е с к о м у — и потухнуть. Римлянинъ, какъ скоро вселенная пала къ его ногамъ, сталъ рабомъ въ республиканскомъ платьѣ; просто Римъ началъ гнить; въ это время являются Кимвры и Тевтоны, — дѣвственные народы сѣвера начали вливаться въ Италию, чистые, добросовѣстные. Должны ли они были погубить себя безъ возврата въ смердящемся Римѣ? Обновленія требовалъ чело в ѣ к ѣ, обновленія ждалъ міръ

И вотъ въ Назаретѣ рождается сынъ плотника, Христось. Ему (говорить апостоль Павелъ) предназначено примирить Бога съ человѣкомъ... «Всѣ люди равны», говоритъ Христось. «Любите другъ друга, помогайте другъ другу», — вотъ необъятное основаніе, на которомъ зиждется христіанство. Но люди не поняли его. Первая фаза христіанства была мистическая (католицизмъ)... Папу объясняетъ югъ. Что былъ Римъ? Мужикъ съ сильными кулаками. И Римъ папы былъ вещественная сторона, матеріальная сила христіанства, и рѣшительно не идея». Во вторую фазу совершается «переходъ отъ мистицизма къ философіи» (Лютеръ), и здѣсь «мы видимъ два разныя движенія съ противоположныхъ сторонъ (въ переходномъ состояніи такъ и должно быть: +а и —а)», — одно «мистическое еще», другое философское (Вольтеръ, Локкъ, сенсуалисты...). И теперь начинается третья фаза, «истинная, человѣческая», — фаланстерство, «м. б., Сень-симонизмъ». Это — фаза полного раскрытія «невещественной религіи Христа, рожденной въ погибающихъ племенахъ семитическихъ, религія народовъ германскихъ и славянскихъ по преимуществу»... Эта философія христіанства вычитана Герценомъ изъ «соціалистическихъ» и философскихъ книгъ, — быть можетъ, всего больше у Леру, помѣстившаго въ 1832 году въ *Revue Encyclopédique* статью *De la philosophie et du christianisme*. Но книжныя впечатлѣнія претворились въ сознаніи Герцена. Сень-симоновская идея соединяется съ идеей «смѣны народовъ». «Каждый народъ выражаетъ одну идею». Франція выразила свою до конца въ вѣкъ «анализа и разрушенія», начавшейся реформацией; французскій народъ «сдѣлался участникомъ разврата XVIII-го столѣтія, онъ нечистъ, — годился рушить, но не имъ начинать новое, огромное зданіе обновленія». Состояніе послѣреволюціонной Франціи Герценъ сравниваетъ съ «пробужденіемъ послѣ шумной вакханаліи, послѣ банка и дуэли», и считаетъ его безнадежнымъ. «Сдѣлаише просвѣщенія» переходитъ въ Германію, въ эту «страну чистыхъ тевтоновъ, въ страну вемическихъ судовъ, въ страну *Burschenschaft* и правила: «*Alle für einen, und einer für Alle*». Здѣсь начнется новый вѣкъ, «палингенезическое время». И въ этомъ Герценъ сходится съ русскими любомудрами. «Страна древнихъ Тевтоновъ! страна возвышенныхъ помысловъ! къ тебѣ обращаю благоговѣйный взоръ мой!» писалъ Одоевскій, — здѣсь «зарождается новый

міръ, изъ котораго заблїстаеть свѣтъ невечерній», и «истинная небесная философія» смѣнить «философію Вольтеровъ и Гельвеціевъ»... \*).

Въ юношескомъ кружкѣ главенствовали Герценъ, — Герценъ и Огаревъ: романтическая клятва связала ихъ нераздѣльно. Первымъ присоединился къ нимъ Сазоновъ, образъ котораго такъ ярко начертилъ Герценъ впоследствии въ ряду «русскихъ тѣней». «Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія», отзывался о немъ Герценъ; но былъ онъ «дѣйствительно празднымъ человѣкомъ», и безъ смысла промоталъ свою жизнь. Тогда онъ съ увлеченіемъ занимался русской исторіей. Сазоновъ привелъ Сатина, впоследствии переводчика Шекспира. Ritter aus Tambow звали его друзья. «Болѣзненный, блѣдный», описываетъ его Герценъ, «онъ похожъ на оранжерейное растеніе, воспитанное въ комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на стужѣ московскихъ лѣтнихъ ночей. Онъ можетъ чище всѣхъ своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. Съ какой любовью, съ какой симпатіей пріютился онъ къ нимъ дичкомъ»... «Это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова», вспоминалъ впоследствии Герценъ. Къ друзьямъ примкнулъ Кетчеръ, «сознательный дикарь изъ образованныхъ», по мѣткому выраженію Герцена. Съ Кетчеромъ друзей свелъ Пассекъ, «платоническій мечтатель и разочарованный юноша въ семнадцать лѣтъ», — тогда писалъ онъ драму, «въ которой хотѣлъ предста-

\*) Любопытно сравнить съ соображеніями Герцена мысли Сазонова (въ названной ниже его статьѣ). «XVIII вѣкъ кончился; аналитическое направленіе, данное имъ наукамъ, замѣнилось другимъ, противоположнымъ... Германія упредила прочія европейскія государства въ этомъ развитіи; но когда, послѣ разрушенія могущества Наполеона, народы, соединенно на него возставшіе, встрѣтились въ побѣжденномъ Парижѣ, и цари ихъ заключили между собой священный союзъ братства и любви, тогда германское образованіе обобщилось. Во всѣхъ странахъ Европы началось совмѣстное изученіе внутренней жизни духа и развитія челоѣчества въ исторіи, и плодомъ этого изученія было открытіе закона послѣдовательнаго совершенствованія челоѣка, руководимаго Божественнымъ Промысломъ... Скептицизмъ и невѣріе характеризуютъ XVIII вѣкъ; въ нашъ вѣкъ, напротивъ, вѣрованіе почитается по справедливости условіемъ всякой жизни, всякой дѣятельности: искусство и наука хотятъ освятить себя имъ, хотятъ найти свое начало въ самомъ Зиждигелѣ и къ нему стремятся»...

вить «страшный опыт своего изжитого сердца»... Чрезъ Пассековъ сблизился съ кружкомъ А. Н. Савичъ, «магистръ математическаго отдѣленія, представитель матеріализма XVIII вѣка», впоследствии знаменитый астрономъ и академикъ. Кстати замѣтить, много лѣтъ спустя онъ вспомнилъ о былыхъ увлеченіяхъ и въ 50-ые годы, во время споровъ о сельской общинѣ, вдругъ выступилъ въ печати со статьями объ «ассоціаціяхъ», какъ о пути къ великому единству, къ единому нераздѣльному организму человѣчества... («Нѣсколько мыслей объ общинномъ владѣніи землею» въ журналѣ «Атеней» 1858 года). О другихъ мало что можно сказать. Но Герценъ былъ правъ: «общества никогда не составлялось». Это былъ союзъ дружбы... Одинъ изъ участниковъ юнаго кружка, Н. Сазоновъ, такъ рассказывалъ впоследствии: «Все, начиная отъ нашихъ костюмовъ, указывало на самую причудливую смѣсь. Зимой мы носили черные бархатные береты à la Карлъ Зандъ и французскіе трехцвѣтные шарфы. На собраніяхъ нашего кружка мы декламировали запрещенныя стихотворенія Рылѣва и Пушкина, и распѣвали наполеоновскіе куплеты Беранже наряду съ антифранцузскими пѣснями Арндта, Уланда и Кернера. Наше чтеніе было еще болѣе разнообразнымъ: мы съ одинаковымъ усердіемъ разыскивали тогда еще очень рѣдкіе документы, относившіеся къ французской революціи, и сочиненія Шеллинга и Окена; начиная отъ мистическихъ пророчествъ Якоба Бема и вплоть до ямбовъ Барбье и «Шагреновой кожи» Бальзака, все волновало насъ, все интересовало насъ, и вызывало въ насъ энтузіазмъ, иногда монотонный и бесплодный, но всегда искренній»... Къ этому перечню нужно присоединить нѣмецкихъ романтиковъ и Гете. «Зевесъ искусства, Наполеонъ литературы», называлъ его Герценъ. Раньше онъ не любилъ Гете, — «у него въ груди не билось такъ человѣчески-нѣжное сердце, какъ у Шиллера»; теперь онъ «почувствовалъ его морскую волну, его глубину, его пространство», — «нѣтъ опредѣленнаго теченія, а тихо зыблются его полныя упругія волны»... Въ творествѣ Гофманна, съ его необузданной и пламенной фантазіей, родящей то причудливые, игривые образы, то мрачныя, удушающіе кошмары, въ его гигантской мистической интуиціи видѣлъ Герценъ высшее откровеніе искусства, того «истиннаго, совершеннаго искусства», которое отвращаетъ взоръ отъ «обыкновеннаго

скучнаго порядка вещей», — для созерцанія иного «чародѣйнаго міра». Наряду съ Гофманномъ его притягиваютъ и «таинственный Жанъ-Поль», и «наивный Новалисъ», и «готическій Тикъ». Не потерялъ обаянія и нѣжный Шиллеръ. Все это — типическое чтеніе русскихъ романтиковъ тридцатыхъ годовъ. Читалъ Герценъ въ это время и романы «великой женщины», Жоржъ Зандъ. Изъ позднѣйшаго разсказа Достоевскаго мы знаемъ, чѣмъ чаровала она «русскихъ мальчиковъ». «Она основывала свой социализмъ, свои убѣжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствѣ челоуѣка, на духовной жаднѣ челоуѣчества, на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на муравьиной необходимости. Она вѣрила въ личность челоуѣческую безусловно (даже до безсмертія ея), возвышала и раздвигала представленіе о ней всю жизнь. И можетъ быть, не было мыслителя и писателя во Франціи въ ея время, въ такой мѣрѣ понимавшаго, что не однимъ хлѣбомъ бываетъ живъ челоуѣкъ»... Въ ея книгахъ въ художественныхъ образахъ, а не въ отвлеченныхъ формулахъ и схемахъ пріоткрывался тотъ новый міръ, по которому томила романтическая душа. И, казалось, близко его осуществленіе, — быть можетъ, завтра ударитъ его часъ... Огаревъ погружается въ это время въ міръ поэзіи и философіи. «Я все послѣднее время, какъ жилъ въ Москвѣ», писалъ онъ Герцену лѣтомъ 1833 года, «старался поддерживать себя въ восторженномъ состояніи духа; положимъ, это напряженность, но это одно поддерживаетъ бодрость духа, свѣжесть ума, *innere Fülle*. Этотъ ежеминутный восторгъ долженъ возвышать, облагородить меня... Я теперь опять возвысился на точку, съ которой почти не замѣчаю ничего, что вокругъ меня, съ которой не вижу пошлыхъ частныхъ, но только одно общее, великое... Другъ, чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность этого слова: поэзія. Ей одной преданъ я; она моя жизнь, моя наука... Она — моя философія, моя политика. Мое размышленіе — вдохновеніе. Я не разсуждаю, но чувствую... Въ этомъ мірѣ живу я, какъ пророкъ въ будущемъ... Я видимо говорю имъ (людямъ) о невидимомъ, чувственно — объ идеальномъ, и они благословляютъ посредника между небомъ и землею... Въ цѣли общей — жизнь поэтическая — соединяются всѣ особенныя цѣли, ибо въ ней заключаются всѣ идеи; это высочайшее существованіе челоуѣчества, оно поведетъ

его къ высочайшей дѣятельности». Такъ подводилъ тогда Огаревъ итоги пережитаго. И въ тотъ же міръ поэзіи и романтическихъ идеаловъ ушелъ тогда Сатинъ. Все отъ того же 1833 года сохранилось его стихотвореніе: «Уми-  
рающій художникъ». Дѣйствіе открывается въ «мастер-  
ской, заставленной статуями и грудями камней». «Погаса-  
ющіе лучи заходящаго солнца проникають въ узкое окно  
и озаряють блѣдное, истощенное лицо умирающаго...  
Взоры его неподвижно устремлены на статую Религии, ко-  
торой лицо совершенно отдѣлано, но станъ представ-  
ляетъ еще необработанную массу мрамора»... Исполнилось  
«невнятное нагорное призваніе», и художникъ умираетъ,  
переселяется въ вѣчный міръ... «Смерть есть преображе-  
ніе, и къ вѣчности безгранный переходъ»... — Таковы бы-  
ли *Lehrjahre* юношескаго кружка, «времени безотчетной  
мечты и юношества»... «No der Bestandtheil нашего бытія  
остається цѣль и невредимъ. Любовь — высокое слово.  
гармонія созданія требуетъ ея, безъ нея нѣтъ жизни и  
быть не можетъ», такъ писалъ Герценъ оставшимся друзь-  
ямъ изъ Вятки. Лю б о в ь и вѣ р а, — вотъ основныя  
начала его тогдашняго міровоззрѣнія.

Въ «Быломъ и Думахъ» о многомъ изъ своей молодости Герценъ забылъ или не хотѣлъ сказать. По сохранившимся остаткамъ юношескихъ писаній Герцена мы можемъ дополнить и исправить его позднѣйшій разсказъ. Въ литературномъ наслѣдіи Герцена это время юношескихъ исканій отразилось нѣсколькими отрывками лирико-романтической прозы, восторженнымъ славословіемъ Гофманну, да натурфилософскимъ этюдомъ о «Мѣстѣ челоуѣка въ природѣ», писаннымъ въ 1832 году. На немъ лежитъ явная печать туманнаго шеллингизма; со ссылкой на извѣстныя академическія чтенія Шеллинга, онъ восхваляетъ здѣсь его «высокія мысли», его «понятіе о природѣ, о наукахъ». Еще до университета его учитель латинскаго языка, магистръ В. И. Оболенскій, восторженный поклонникъ Павлова, въ числѣ книгъ «по части новой исторіи и нѣмецкой литературы» приносилъ ему творенія Шеллинговы \*). Въ универ-

\*) О В. И. Оболенскомъ слѣдуетъ сказать подробнѣе. — Сѣвскій семинаристъ, послѣ окончанія Московскаго университета, онъ былъ сперва воспитателемъ и учителемъ въ университетскомъ пансіонѣ, затѣмъ старшимъ учителемъ въ Московской губернской гимназійи и съ 1833 года преподавателемъ греческаго языка въ Университетѣ, съ

ситетѣ врядъ ли могли пройти для Герцена безслѣдно лекціи самого Павлова, этого «Бомбаста Парацельса въ миниатюрѣ», какъ онъ называлъ его, о «пластической ясности» которыхъ, «нисколько не терявшихъ всей глубины нѣмецкаго мышленія», сочувственно вспоминаетъ онъ и въ «Быломъ и Думахъ». У Павлова, по его собственнымъ словамъ, онъ «ревностно занимался». Въ журналѣ Павлова «Атеней» уже въ 1830 году (и, вѣроятно, при содѣйствіи Оболенскаго) Герценъ помѣстилъ переводную статейку «о землетрясеніяхъ». Не могъ не слышать онъ о Шеллингѣ и отъ Полевого, съ которымъ встрѣчался тогда и «философствовалъ съ безкорыстною любовью къ человѣчеству»; съ Полевымъ его сближалъ и общій интересъ къ французской литературѣ. Врядъ ли въ то время Герценъ изучалъ самого Шеллинга; вѣрнѣе, что читалъ онъ Кузена, котораго тогда пропагандировали и Павловъ, и Полевой. За при-

---

1835 года въ званіи адъюнкта. Въ 1828 году онъ былъ командированъ въ Петербургъ для практическаго ознакомленія съ методом взаимнаго обученія, и въ январѣ 1829 года открылъ собственную школу при Никитскомъ училищѣ. Въ 1827 году онъ издалъ свой переводъ «Разговоровъ Платона о законахъ». Оболенскій былъ членомъ кружка Ранча и однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ «Атенея». У него въ началѣ 20-хъ годовъ учился древнимъ языкамъ Кошелевъ. «Жизнь Василія Ивановича была открыта и ясна всѣмъ, его знавшимъ», говорится о немъ въ старомъ «Біографическомъ словарѣ профессоровъ и преподавателей Московскаго университета». Младенецъ душою, «онъ былъ набоженъ, особенно въ послѣдствіи, и соблюдалъ всѣ уставы Церкви, которую тщательно и усердно посѣщалъ. Дома читалъ всякій день молитвы и нѣкоторыя главы изъ Библии на греческомъ языкѣ». Любилъ чтеніе богословскихъ и философскихъ книгъ. С. М. Соловьевъ въ своихъ «Запискахъ» отзывается о немъ сурово: «человѣкъ знающій, охотникъ читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедшій»; — «имѣлъ голову не въ правильномъ состояніи»; «странныя рѣчи, въ которыхъ, начавши за здравіе, онъ сводилъ за упокой, ибо мысли, иногда здравыя, никогда не клеились у него въ головѣ одна съ другою». И въ этомъ пристрастномъ изображеніи трудно узнать типичнаго «лишняго человѣка» той поры. «Какъ полиція позволяеть ему ходить по улицамъ — непостижимо», писалъ еще Герценъ. «Онъ похожъ на нѣмецкаго ученаго и на горячешаго въ тихую минуту. Медленныя движенія, померкшіе глаза, несносный педантизмъ, невѣдѣніе всего міра реальнаго изъ-за превосходнаго знанія латинскаго и греческаго языковъ, и остермановская разсѣянность. Онъ бездну перечуль, перечиталъ; но ему рѣшительно наука не пошла въ пользу; онъ какъ скупецъ, чахнетъ надъ трудно собранными деньгами, не употребляя ни копѣйки изъ нихъ»...



страстіе къ экклектизму лѣтомъ 1833 года на Герцена изсмѣшливо нападалъ Огаревъ. «А кто твой Шеллингъ поэтъ, который создалъ не бездушный экклектизмъ» писалъ Огаревъ, «не знаю. Уже не Кузень-ли? Дѣйствительно не бездушный, а чужедушный. Одна не бездушная философія послѣднихъ временъ, гдѣ высоко поняты требованія вѣка, — это Сень-Симонъ. Не знаю, хотя и не думаю, дѣйствительно ли Шеллингъ обвѣнчалъ экклектическимъ образомъ Фихте со Спинозою, но знаю, что достоинство Шеллинга въ томъ, что онъ исходитъ изъ безусловнаго начала, причины причинъ, и развиваетъ систематически. Кромѣ того я вижу у Шеллинга геніальную фантазію. Полно, Герценъ! Если у тебя нѣтъ въ душѣ собственной, живой философіи, то мало ты успѣешь, обирая всѣхъ умершихъ и живущихъ, покойныхъ и непокойныхъ философовъ. Изъ лоскутковъ смѣшно шить платье»... Огаревъ здѣсь самого Шеллинга противопоставляетъ Кузену. Герценъ въ это время считалъ «религіозную форму» сень-симонизма его «упадкомъ» и думалъ, что «требованія вѣка» понималъ именно Шеллингъ, «поэтъ высокій». «Но нашему брату надлежитъ идти дальше, модифицировать его ученіе, отбрасывать *ipse dixit* и принимать не болѣе его методы. Причина: Шеллингъ дошелъ до мистическаго католицизма, Гегель — до деспотизма! Фихте, этотъ *gégime de terreur* философіи (какъ называетъ Кинэ), по крайней мѣрѣ хорошо понималъ достоинство человѣка»...

Объ отраженномъ шеллингизмѣ юнаго Герцена свидѣтельствуеъ его статья 1832 года «о мѣстѣ человѣка въ природѣ» и его «диссертація» — «Аналитическое изложеніе солнечной системы Коперника» (1833 года). — Два ряда мыслей заслуживаютъ вниманія въ этихъ университетскихъ опытахъ Герцена. Первый касается «методы». Герценъ призываетъ «послѣдовать правилу Бэкона и соединить методу раціональную съ эмпирической», преодолѣть односторонній «сенсуализмъ», довольствующійся однимъ «разъятіемъ» цѣлаго на части и потому приводящій къ «блѣдному, хладнокровному матеріализму». «Девизъ анализа», говоритъ Герценъ, — «разъятіе, части; а душа, а жизнь находится въ цѣломъ организмѣ, и при томъ въ живомъ организмѣ. Съ ножомъ и огнемъ идутъ естествоиспытатели на природу, рѣжутъ ее, жгутъ, и послѣ увѣряютъ, что, кромѣ вещества, ничего не существуетъ»... Изъ рукъ такихъ узкихъ специалистовъ выходитъ «уже не та

природа, полная жизни и изящнаго, дышащая свободою, проявленная идея Бога, однимъ словомъ, природа горъ и океана, природа грозы и красота дѣвы», но — «холодный мертвый трупъ, изрѣзанный на анатомическомъ столѣ, желтый, посинѣвшій»... Живая природа не поддается и поэтическому описанію. «И горе, если дерзкое перо вздумаетъ ее описывать: тутъ всегда остается ужасное разстояніе между твореніемъ человѣка и твореніемъ Бога, между отторженными частями природы Вернеровой и всею цѣлостью природы настоящей»... *Semblables aux physiologistes les philosophes critiques ont fait de l'univers ce que ceux là ont fait de l'homme vivant, — un cadavre!* Эти слова Олень Родрига выбираетъ Герценъ за эпиграфъ къ своей статьѣ наряду съ евангельскимъ текстомъ (МѠ. XXIII, 25) и афоризмомъ Шиллера: *Es ist nicht draussen. Es ist in dir; du bringst es ewig hervor...* Конечно, безъ «эмпиризма» нельзя обойтись, «нельзя познаваемое узнать безъ посредства чувствъ»; но «употребляя опытную методу, не должно на ней останавливаться, — надобно дать мѣсто, и при томъ мѣсто большое, умозрѣнію; факты чрезвычайно важны, но одни голые факты еще мало представляютъ разуму». «Начинается съ эмпирии, съ опыта; но какъ скоро вы его сдѣлали, вы, уже не обращаясь снова къ опыту, выводите законы, въ природѣ существующіе, со всѣми ихъ измѣненіями, единственною силою ума», — такова метода Ньютона, Лапласа, Біо; въ описательныхъ наукахъ — метода Жоффруа и Декандолля. «Эмпирія» и «идеализмъ» даже не двѣ разныя методы, а только «крайности одной методы, несуществующія въ отдѣльности другъ отъ друга», — двѣ части, два момента одного цѣльнаго познанія». Ибо «два начала въ полномъ слити составляютъ вселенную: идея и форма, внутреннее и внѣшнее, душа и тѣло»... Это двойство выражено Картезіемъ и Бакономъ... Ходъ познанія — таковъ: сперва опытное изученіе явленій при всевозможныхъ условіяхъ и затѣмъ «выводъ образа или формы дѣйствія ихъ» (законы), связи съ другими явленіями и зависимости отъ явленій болѣе общихъ (причины), и, наконецъ, «нисхождение отъ общаго начала къ явленіямъ, служащее повѣркою и показывающее необходимость такого существованія явленій»... «Методу, такимъ образомъ понимаемую, мы найдемъ въ твореніяхъ великихъ людей, особенно жившихъ въ послѣднее время», заключаетъ Герценъ. Онъ имѣетъ

въ виду, очевидно, Шеллинга. — Нужно замѣтить, что въ этихъ разсужденіяхъ о «методѣ» Герценъ прямо повторяетъ или пересказываетъ Павлова. Уже въ «Мнемозинѣ» (1825 г.) Павловъ показываетъ необходимость сочетанія «опытности» и умозрѣнія, наведенія и вывода, — въ отдѣльности и односторонности оба метода не дадутъ полнаго познанія. И тѣ-же мысли онъ повторяетъ въ «Атенѣ» 1828 года, въ статьѣ «о взаимномъ отношеніи свѣдѣній умозрительныхъ и опытныхъ». Эта статья вызвала возраженія въ «Московскомъ Телеграфѣ». Поэтому мало вѣроятно, чтобы она осталась Герцену неизвѣстной. Вводныя лекціи своихъ курсовъ Павловъ посвящалъ всегда вопросамъ метода, говорилъ о природѣ вообще и о способахъ его изслѣдованія — эти чтенія въ особенности привлекали вниманіе аудиторіи, заражали ее вдохновеніемъ и любопытствомъ. О нихъ и самъ Герценъ вспоминаетъ въ «Быломъ и Думахъ». Кстати сказать, его юношескіе опыты очень напоминаютъ статью А. Д. Галахова о «Четырехъ возрастахъ естественной исторіи» (въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1827 года), писанную по Павлову. Герценъ, можетъ быть, читалъ и диссертацию Давыдова «о преобразованіи въ наукахъ, произведенномъ Баконномъ» (1815 г.). — Слѣдуетъ прибавить, что аналогичныя мысли о путяхъ и методахъ науки развивалъ и Сень-Симонъ въ своемъ *Introduction aux travaux scientifiques du XVIII-ème siècle* (1807); трудно сказать, зналъ ли это Герценъ.

Другой рядъ идей Герцена еще интереснѣе. Герценъ усваиваетъ ученіе о «повсемѣстныхъ переворотахъ», дикихъ и ужасныхъ, неоднократно сотрясавшихъ землю и раздѣлившихъ природу на нѣсколько замкнутыхъ царствъ»; — и «царство самосознательное» отдѣлено отъ животнаго «цѣлымъ міромъ развалинъ и разрушеній, океанами потоповъ и огненными изверженіями». Это — поэтическое повтореніе Кювье, «рѣчь котораго о геологическихъ переворотахъ» вмѣстѣ съ Декандолевой растительной органографіей давалъ Герцену «химикъ». Но къ этому присоединяется натурфилософская идея: есть единство и постепенность въ «развивающейся природѣ». «Законы природы, проявленія ея жизни постоянны и неизмѣнны въ отдѣльныхъ феноменахъ и во всемъ мірѣ феноменальномъ», писалъ тогда Герценъ. «Такъ и хронологическое развитіе ея носитъ отпечатки строжайшей послѣдователь-

ности; постепенно восходить она отъ простого къ сложному, начавшись тѣлами тайножизненными и оканчиваясь самопознаниемъ... Изъ бурнаго, хаотическаго состоянія планета переходитъ «къ бытію собственному», къ бытію о себѣ въ человѣкѣ, — «человѣкъ отданъ самъ себѣ»... «Съ появленіемъ человѣка прекращаются эти повсемѣстные перевороты, и чѣмъ далѣе, тѣмъ они рѣже», — космическія силы слабѣютъ и утихаютъ: «природа бережетъ свое любимое дитя — человѣка». Впрочемъ, время отъ времени снова льется пламя изъ нѣдръ земныхъ, снова вода затопляетъ высочайшія горы. И въ исторіи совершаются «колоссальныя огненные изверженія», какъ бы напоминающія о «мощныхъ переворотахъ допотопныхъ, измѣнявшихъ все лицо планеты», — такова революція французская. Изъ нагроможденныхъ ею развалинъ возникъ новый человѣкъ, стряхнулъ съ себя пыль и, благодаря предшественниковъ, началъ новое зданіе. Теперь онъ строить, погодимъ судить его»... Кто же этотъ новый человѣкъ? Герценъ называетъ Шеллинга съ его «требованіями», затѣмъ Ecole Normale, преодолевшую «уроки Кондильяковы»... Здѣсь смѣшиваются во-едино и сенъ-симонистскія воспоминанія, и натурфилософскія идеи. Окена и Жоффруа Герценъ защищалъ въ то время отъ матеріализма «химика», — и тотъ «нехотя отвѣчалъ на мои романтическія и философскія возраженія», вспоминаетъ Герценъ. Уже въ ссылкѣ съ восторженнымъ удивленіемъ открываетъ Герценъ эволюціонное «мнѣніе Жоффруа Сентъ-Илера», — это *le dernier mot* нынѣшней философіи, — у Данте въ XXIV пѣснѣ Чистилища. Изъ натурфилософіи возникло у Герцена представленіе объ «исторіи», какъ продолженіи и завершеніи «природы», которое ложится впоследствии въ основу его исторіософскихъ взглядовъ.

Историческіе вопросы занимаютъ Герцена и въ эти годы. «Слѣдить за человѣчествомъ въ главнѣйшихъ фазахъ его развитія, для сего возвращаться иногда къ былому, объяснить нѣкоторыя мгновенія дивной біографіи рода человѣческаго, и изъ нея вывести свое собственное положеніе, обратить вниманіе на свои надежды», — такъ формулируютъ свои задачи Герценъ, Сазоновъ и Сатинъ въ «планѣ изданія журнала», составленномъ ими въ февралѣ 1834 года. Онъ писанъ рукой Герцена. Исторія опредѣляется здѣсь, какъ «процессъ возвышенія формы къ идеѣ», и начинается она до человѣка. «Изученіе слова и

дѣяній челоуѣка еще недостаточно»; челоуѣкъ — часть природы, онъ ея принадлежность, она его обусловливаетъ, она подчиняетъ его своимъ законамъ; «слѣдственно, чтобъ понять челоуѣка, надлежитъ понять природу». Поэтому наряду съ исторіей вниманіе должно направиться и на «философію естествовѣдѣнія», и здѣсь «все вниманіе должно обратить на геологическія, фізіологическія и психологическія изслѣдованія»... Этотъ планъ не осуществился. Онъ интересенъ и для характеристики тогдашнихъ мнѣній юнаго кружка, и для характеристики тогдашнихъ настроеній. «Учиться, учиться, а потомъ писать», — писалъ Герценъ Огареву еще лѣтомъ 1833 года. «Ты, Вадимъ, и я, — мы составляемъ одно цѣлое, будемъ же жить чисто умственной жизнью. Науки (ты понимаешь, что я говорю въ обширномъ смыслѣ), науки пусть займутъ всю жизнь». И Герценъ «запасается цѣлою системою чтенія сціентифическаго» (по указаніямъ Морошкина), — сюда входятъ Лерминье (вѣроятно, его «*Histoire des législateurs et des constitutions de la Grèce antique*»), Мишлэ, Тьерри, Вико, Монтескье, Гердеръ, политико-экономическіе трактаты Сея и Мальтуса, римское право Микельдея. Врядъ-ли многое было тогда прочтено изъ этой «системы». Зато мы знаемъ, что въ лѣто 1833 года Герценъ съ воодушевленіемъ читалъ «важное сочиненіе Сперанскаго -- Историческое изслѣдованіе о Сводѣ», и ставилъ автору въ заслугу примѣненіе методы баконовой. Впослѣдствіи Герценъ называлъ Сводъ Сперанскаго «огромнѣйшимъ юридическимъ фактомъ» и подчеркивалъ, что подъ нимъ лежитъ «обширная база». Въ кругъ интересовъ Герцена входила и русская исторія. Его друзья, Вадимъ Пассекъ и Сазоновъ, занимались ею специально. Въ «Ученыхъ Запискахъ Московскаго Университета» за 1835 годъ помѣщена статья Сазонова «объ историческихъ трудахъ и заслугахъ Миллера», — въ томъ же году, что и статья Станкевича «О причинахъ возвышенія Москвы». Сохранилась статья Герцена или вѣрнѣе лирической отрывокъ въ прозѣ подъ названіемъ: «28 января», она была читана въ этотъ день въ 1833 г. въ собраніи кружка. Ея тема — Петръ и его дѣянія. — «Внезапно появляется великій, мощный, какъ будто смѣется надъ историкомъ и его законами, и силою воли и рушить, и созидаетъ», говоритъ Герценъ о великихъ людяхъ, — таковы Александръ, Карлъ Великій, Наполеонъ. Въ ихъ появленіи, какъ въ явленіи

кометъ, нарушаются всѣ предвидѣнія, и въ то-же время осуществляется какая-то высшая закономѣрность, не объемлемая «слабымъ мышленіемъ человѣческимъ». И очи завершаютъ невидимый ходъ тайныхъ событій. «Хотя воля человѣческая не закована въ законы математическіе», говоритъ Герценъ, «однако, мудро допустить здѣсь произволь, замѣчая гармоническое развитіе чело вѣ ч е с т в а, въ которомъ всякая индивидуальная воля, кажется, поглощается общимъ движеніемъ, подобно, какъ движеніе земли уноситъ съ собою всѣ тѣла, на ней находящіяся... Это — общая мысль тридцатыхъ годовъ, внушенная и подсказанная шеллингизмомъ прежде всего. Свобода чело вѣ ка, какъ высшій цвѣтъ и выраженіе всеобщей міровой разумности, какъ слагающая той высшей разумной необходимости, безъ которой цѣлое рассыпалось бы въ безсвязный песокъ мелочей. Впослѣдствіи и Огаревъ вспоминалъ, какъ онъ «въ рядахъ событій и вещей слѣдилъ ихъ формулу». — Таковъ и Петръ. «Явился Петръ, сталъ въ оппозицію съ народомъ, выразилъ собою Европу, задалъ себѣ задачу перенести европеизмъ въ Россію» — и вотъ, «цѣлый переворотъ кровавый и ужасный замѣнился гениемъ одного чело вѣ ка». Герценъ сравниваетъ Петра и реформацію. Появленіе Петра было необходимо, но оно не было вынуждено. Петръ явился не «вопреки всѣмъ историческимъ законамъ». Герценъ пробуетъ истолковать явленіе Петра изъ законовъ развитія идеи. Ибо Петръ не былъ такъ «заклученъ въ самомъ себѣ», чтобы не было въ немъ «исторической необходимости». Будучи частью Европы, не по мѣстоположенію только своихъ поселеній, но по началамъ развитія, какъ народъ христіанскій, славяне «должны вмѣстѣ съ Европой стремиться къ ея мечтѣ», вмѣстѣ съ нею должны «войти въ фазу гармоніи». Европа, несмотря на разнородность и «индивидуализмъ» ея составныхъ частей, есть единый «живой организмъ, имѣющій свою жизнь, свою цѣль, свой девизъ». Но просвѣщеніе Европы родилось изъ борьбы противоположныхъ началъ христіанства и древняго міра. Этой противоположности, этой «оппозиціи» въ Россіи не было, и этимъ опредѣлился «тихий, почти незамѣтный ходъ» русскаго развитія. «Оппозицію» нужно было создать, — въ этомъ заключается смыслъ дѣянія Петрова. «Россія все еще не имѣла и элементовъ къ ускоренію хода». Не было ни «оппозиціи» общинъ, ни «оппозиціи»

феодаловъ, — удѣльная система, «можетъ, произведенная феодализмомъ, не совпадала съ нимъ». Не создалося «оппозиціи» и при татаряхъ, и подъ самодержавіемъ. «Но», заключаетъ Герценъ, «необходимость была огромна: оставшая часть Европы должна была сколько нибудь нагнать ее, чтобы послѣ имѣть право на плоды XVIII-го вѣка, который столь дорого стоилъ и который по сему-то долженъ былъ сдѣлаться общимъ достояніемъ, по крайней мѣрѣ, Европы, — чтобы послѣ видѣть эту революцію сквозь дымъ пылающей Москвы, — чтобы послѣ идти самой въ Парижъ предписывать законы побѣдителямъ и побѣжденнымъ, неразрывно слить свои судьбы съ судьбами Европы и получить въ подарокъ часть своего племени — Польшу». — Самъ Герценъ еще въ 1833 году отмѣтилъ свое совпаденіе съ Погодинымъ, — «моя мысль о сравненіи Петра съ реформацией напечатана Погодинымъ», писалъ онъ Огареву. Нужно прибавить, что на отсутствіе античной культуры, какъ одинъ изъ основныхъ факторовъ, опредѣлившихъ своеобразие русскаго историческаго процесса, различіе Востока и Запада, указывали въ это время и Полевой (въ «Исторіи русскаго народа»), и Ив. Кирѣевскій, въ своей знаменитой статьѣ въ «Европейцѣ» (въ самомъ началѣ 1832 года), — мало вѣроятно, чтобы Герценъ не читалъ «Европейца», если въ особенности припомнить его цензурную судьбу. Важно, впрочемъ, не то, была ли здѣсь внѣшняя связь или зависимость; гораздо важнѣе самый фактъ близости и сходства въ воспріятіи и пониманіи Петровскаго дѣла. Въ немъ Герценъ не отличается отъ любомудровъ 20-хъ годовъ. Но, можетъ быть, рѣзче, чѣмъ они, онъ подчеркиваетъ недостаточность и односторонность Великаго Преобразователя. «Революція Петра была матеріальная», говоритъ онъ; Петръ «былъ исключительно односторонній предѣлъ одной идеи, и ее развивалъ всѣми средствами, даже доходилъ до жестокости, какъ реформація, какъ французскій конвентъ». И пока еще плодовъ Петровскаго переворота не видно. «Россія еще не имѣетъ голоса» и не могла оцѣнить дѣяніе Великаго. Нужно ждать будущаго, когда разовьются тѣ «элементы», которые «устремили бы Россію къ фаросу Петра». Вся надежда Герцена на «мощность и силу характера славянскаго». — «Пусть разовьется у насъ народность, пусть русскіе, быстро слившіеся съ Европою или, лучше, вдохнувъ ее въ себя, оставятъ одни элементы имъ свойствен-

ные и переработаютъ ихъ въ свое собственное. Тогда потребуемъ отчета у Россіи, и она не измѣнитъ великому характеру своему»... Мысль Герцена осталась недосказанной, онъ не написалъ предполагавшейся второй статьи — о тѣхъ «элементахъ», которые дѣлаютъ возможнымъ развитіе Россіи. И вмѣстѣ съ тѣмъ она вполне ясна: Россія должна вдохнуть въ себя Европу, должна жить съ нею заодно, но вмѣстѣ съ тѣмъ должна явить свое лицо, свою народность. И это дѣло будущаго, — «матеріальная революція» Петра должна восполниться духовнымъ обновленіемъ, и новое должно начаться время. — Такъ уже на зарѣ своей жизни Герценъ догадывался о томъ, что много лѣтъ спустя, наконецъ, высказалъ о Россіи и Европѣ. Тогда онъ только договорилъ то, что носилось въ воздухѣ уже съ двадцатыхъ годовъ.

**Георгій В. Флоровскій.**

*(Окончаніе слѣдуетъ.)*